



**Я** хотела бы кое-что рассказать о своем первом муже, Вильяме.

Недавно в жизни Вильяма произошли печальные события — как и у многих из нас, — но я хотела бы о них упомянуть, такое почти навязчивое желание; сейчас ему семьдесят один год.

Мой второй муж, Дэвид, умер в прошлом году, и, скорбя по Дэвиду, я скорбела и по Вильяму тоже. Скорбь — это... Ах, это такое *одинокое* чувство; в этом весь ее ужас, как мне кажется. Ты как будто незаметно для всех съезжаешь по фасаду очень высокого стеклянного здания.

Но здесь я хочу рассказать о Вильяме.



Его зовут Вильям Герхардт, и, выйдя за него замуж, я взяла его фамилию, хотя в годы нашего студенчества это было немодно. Моя соседка по квартире сказала: «Люси, ты берешь его фамилию? Я думала, ты феминистка». А я ответила, что больно нужно мне быть феминисткой; я ответила, что больше не хочу быть собой. В ту пору мне казалось, что я *устала* быть собой, всю жизнь я мечтала стать кем-то другим — так мне казалось, — вот я и взяла его фамилию и на одиннадцать лет стала Люси Герхардт, но в этом всегда было что-то неправильное, и почти сразу, как умерла мать Вильяма, я пошла в транспортное управление и поменяла фамилию на водительских правах, хоть это и непросто; пришлось предоставить документы из суда; но я это сделала.

Я снова стала Люси Бартон.

Когда я ушла от Вильяма, мы уже почти двадцать лет прожили в браке, сейчас у нас две взрослые дочери, и мы давно на дружеской ноге — сама не понимаю как. Есть много кошмарных историй о разводе, но, не считая самого расставания, наша не из таких. Порой мне казалось, что боль от нашего разрыва и от страданий моих девочек убьет меня, но я не умерла, и вот я здесь, и Вильям тоже.

АХ, ВИЛЬЯМ!

Я писатель и потому излагаю эту историю почти что в романной форме, но излагаю правдиво — насколько это в моих силах. И я хочу сказать... Ах, как трудно подобрать слова! Если я пишу что-то о Вильяме, значит, я видела это своими глазами или слышала от него самого.

Мой рассказ начинается, когда Вильяму было шестьдесят девять, то есть чуть меньше двух лет назад.

\* \* \*

Иллюстрация.

Ассистентка в лаборатории Вильяма начала звать его Эйнштейном, и Вильям от этого балдел. По-моему, он вовсе не похож на Эйнштейна, но я понимаю, о чем она. У Вильяма белые с серыми вкраплениями усы, очень пышные, но ухоженные, и пышные белые волосы. Они действительно торчат в разные стороны, даже когда подстрижены. Только Вильям высокий и очень хорошо одевается. И в его чертах нет того намека на безумие, который, как мне кажется, был у Эйнштейна. Обычно лицо Вильяма сковано непреклонной любезностью, кроме тех редких случаев, когда он запрокидывает голову, заходясь настоящим смехом; давно он этого не делал. Глаза у него карие и по-прежнему

большие; не у всех к старости глаза остаются большими, а у Вильяма остались.

Итак...

Каждое утро Вильям просыпался в своей просторной квартире на Риверсайд-драйв. Представьте, как он откидывает мягкое стеганое одеяло в синем хлопковом пододеяльнике — рядом, в их громадной кровати, все еще спит жена — и направляется в туалет. Каждое утро он вставал с затекшими мышцами. Но у него была гимнастика, и он ее делал, шел в гостиную, ложился на спину на большом красно-черном ковре под антикварной люстрой и вращал ногами, будто крутит педали в воздухе, а затем вытягивал и сгибал их так и эдак. После этого он садился в большое бордовое кресло у окна, выходящего на реку Гудзон, и читал новости на ноутбуке. Вскоре из спальни появлялась Эстель и сонно махала ему, а затем шла будить их дочку, Бриджет, которой было десять, и, когда Вильям выходил из душа, они вместе завтракали на кухне за круглым столом; Вильяму нравился этот их распорядок, и дочка у него была болтушка, что тоже ему нравилось, это как слушать птичий щебет, сказал он однажды, и мать ее была болтушка.

Выйдя из дома, он пересекал парк, садился в подземку и, доехав до Нижнего Манхэттена, вы-

ходил на Четырнадцатой улице, откуда пешком добирался до Нью-Йоркского университета; ему нравились эти ежедневные прогулки, хоть он и замечал, что ходит уже не так быстро, как молодые люди, проталкивающиеся мимо с пакетами еды, или с колясками с двумя детьми, или с наушниками в ушах, ковриками для йоги за спиной и в лайкровых колготках. Вильям радовался, что и сам много кого может обогнать — старика на ходунках, или женщину с тростью, или даже своего ровесника, шагающего медленнее него, — и благодаря этому чувствовал себя здоровым, и живым, и почти неуязвимым в мире постоянного движения. Он гордился тем, что проходит больше десяти тысяч шагов в день.

Вильям чувствовал себя (почти) неуязвимым, вот что я пытаюсь сказать.

Иногда во время этих прогулок он думал: господи, я ведь мог бы оказаться на месте *того мужчины* — дремал бы в инвалидном кресле под утренним солнцем Центрального парка, голова склонилась на грудь, рядом, на скамейке, печатает что-то в телефоне сиделка; или на месте *вот этого* — с неровной походкой, скрюченной после инсульта рукой; но потом Вильям думал: нет, я не на их месте.

И он не был на их месте. Он был, как я уже сказала, высоким мужчиной, который с годами не

набрал лишнего веса (разве что обзавелся маленьким брюшком, под одеждой почти незаметным), чьи волосы, теперь уже белые, не поредели, и он был... Вильямом. И у него была жена, третья по счету, на двадцать два года моложе его. И это не пустяки.

Но по ночам его мучили страхи.

Вильям рассказал мне об этом как-то утром — чуть меньше двух лет назад, — когда мы встретились на чашку кофе в Верхнем Ист-Сайде. Встретились мы в закускойной на углу Девяносто первой и Лексингтон-авеню; у Вильяма много денег, и он часто их куда-нибудь жертвует, и одно из учреждений, куда он их жертвует, — это больница для подростков неподалеку от моего дома, и раньше, если у него бывали там совещания, он звонил мне и мы встречались на чашку кофе на углу. Тем утром — дело было в марте, за пару месяцев до его семидесятилетия — мы сидели за столиком возле окна, стекла были расписаны трилистниками в честь Дня святого Патрика, и я подумала — я правда подумала, — что у Вильяма какой-то усталый вид. Я всегда считала, что возраст его только красит. Пышные белые волосы придают ему выразительности, он носит их чуть длиннее, чем раньше, и они слегка вздымаются над его головой, но их

уравновешивают большие поникшие усы; скулы у него стали более очерченными, глаза по-прежнему темные, и вот что немного странно: бывает, он смотрит на тебя — внимательно, любезно, — и на секунду его взгляд становится пронзительным. Что он пронзает этим взглядом? Я так и не поняла.

Тем утром, в закуской на углу, спрашивая: «Ну как ты, Вильям?» — я ожидала услышать обычное ироническое: «Просто замечательно, Люси, большое спасибо», но он сказал лишь: «Нормально». На нем было длинное черное пальто, и, прежде чем сесть, он снял его и перекинул через спинку соседнего стула. Его костюм был сшит на заказ, с тех пор как он встретил Эстель, он все костюмы шьет на заказ, поэтому пиджак идеально сидел на плечах; костюм был темно-серый, а рубашка бледно-голубая, а галстук красный; вид у него был торжественный. Он скрестил руки на груди, это у него такая привычка. «Хорошо выглядишь», — сказала я, и он ответил: «Спасибо». (По-моему, за все минувшие годы Вильям ни разу не говорил мне, что я выгляжу хорошо, или мило, или хотя бы неплохо, а я, если честно, всегда надеялась это услышать.) Он заказал нам кофе, его глаза заскользили по комнате, и он легонько потянул себя за усы. Он говорил о наших девочках — боялся, что Бекка, младшая, на него сердится: на днях, когда



он позвонил поболтать, в ее тоне была смутная неприязнь, и я посоветовала, пусть не напирает на нее, она сейчас осваивается в браке; так мы беседовали несколько минут, затем Вильям взглянул на меня и произнес:

— Лютик, я хочу кое-что тебе рассказать. — Он подался вперед: — По ночам меня мучают страхи.

Если Вильям использует мое старое прозвище, значит, он включился в беседу по-настоящему, мне всегда очень приятно, когда он так меня называет.

— Тебе снятся кошмары? — спросила я.

Он задумчиво склонил голову набок.

— Нет. Все начинается, когда я просыпаюсь посреди ночи, в темноте. Никогда со мной такого не бывало, — добавил он. — Но это жутко, Люси. Просто жуть берет. — Он поставил чашку на стол.

Я смерила его взглядом:

— Ты пьешь какие-то новые таблетки?

— Нет, — насупившись, ответил он.

Тогда я сказала:

— Ну попробуй принимать снотворное.

А он мне:

— В жизни не принимал снотворного (что меня не удивило).

Зато жена принимает, сказал он; Эстель глотает таблетки пригоршнями, он давно оставил попытки в них разобраться. «Пора пить таблетки», —

весело говорит она и через полчаса уже спит. Он не возражает. Но снотворное — это не для него. Как бы то ни было, часа через четыре он просыпается, и тут начинаются страхи.

— Расскажи, — попросила я.

И он рассказал, поглядывая на меня лишь изредка, будто страхи его еще не отпустили.

Страх первый: он безымянный, но связан с матерью Вильяма. Его мать — звали ее Кэтрин — умерла много лет назад, и по ночам он ощущает ее присутствие, но не в хорошем смысле, а в плохом, и это его удивляет, ведь он ее любил. Вильям был единственным ребенком в семье и понимал (тихую) ярость ее любви.

Пытаясь унять этот страх, он лежит в постели рядом со спящей женой — он сам мне сказал, и его слова чуть не убили меня — и думает обо мне. Что я нахожусь сейчас где-то, живая, — что я жива, — и это его утешает. Ведь он знает, сказал он, поправляя ложку на блюде, что, если придется, — хотя вообще он бы, конечно, не стал делать этого посреди ночи, — но *уж если* придется, он может позвонить мне, и я отвечу. Мое присутствие — величайшее для него утешение, и только так ему удастся уснуть.

— Ну конечно, ты всегда можешь мне позвонить, — сказала я.